

**Николай Семенович Лесков**

# **Кадетский монастырь**

**Москва  
Книга по Требованию**

УДК 82-94  
ББК 63.3-8

**Николай Семенович Лесков**

Кадетский монастырь / Николай Семенович Лесков – М.: Книга по Требованию, 2011. – 38 с.

**ISBN 978-5-4241-2070-1**

Николай Семенович Лесков широко, объективно отразил в своих произведениях жизнь российского общества его эпохи - эпохи отмены крепостного права, пробуждения деловой активности масс, размежевания интеллигенции на разные идеологические "станы". Большое внимание уделял Лесков и русской старине, считая ценным для развития общества накопленный тысячелетиями народный опыт. Документальность многих его произведений сочетается с художественной выразительностью, психологической глубиной, яркостью языка.

**ISBN 978-5-4241-2070-1**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011

Николай Лесков  
Кадетский монастырь



# Глава первая

У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться – они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше чем когда-нибудь пряталось от света. И, заметьте, все не из чернородья и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее; но тогда были... Верно и теперь есть, только, разумеется, искать надо.

Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности, – сразу о четырех праведных людях так называемой «глухой поры», хотя я уверен, что тогда подобных было очень много.

## Глава вторая

Воспоминания мои касаются Первого петербургского кадетского корпуса, и именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу въявь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история.

До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст – на камеры. В каждой камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые «аббаты», – французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по пяти тысяч рублей в год жалованья, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по две недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знание иностранных языков между кадетами было очень значительно, и этим, конечно, объясняется, почему Первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений.

Император Павел Петрович как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал: «Аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых»<sup>1</sup>.

С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках.

Я прошу верить, а лично слышащих меня – засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литературы: я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но часто и то, что не нравится, и знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь «скалозубами», что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем.

Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время; видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то и другое, а я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и *как* воспитывал, то есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатались на сердце, потому что – грешный человек – вне этого, то есть без живого возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны.

Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам.

## Глава третья

№ 1. *Директор, генерал-майор Перский* (из воспитанников лучшего времени Первого же корпуса). Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное «матушкою Екатериною». Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упорность, что на него махнули рукой и подаренное ему «матушкою» имение оставили в его владении.

Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него «внимания и покровительства».

Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно потому, что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал:

– Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное – вы знаете только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды.

На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искаительство перед начальством, было особенное выражение «подъезчик», и этого преступления кадеты *никогда не прощали*. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош и худ, но он несомненно воспитывал в детях понятия чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба.

Михаил Степанович Перский был замечательная личность: он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре или он считал обязанностью служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами и все, что ни делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом: всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу «по форме», держался прямо и молодецкато и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха.

Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидели с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, – весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: «Михаил Степанович прошел по улице!»

Ему, впрочем, и некогда было разгуливать: будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности четыре раза в день *непрерывно* обходил все классы. У нас было четыре перемены уроков, и Перский

непрерывно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери.

Перский *исключительно* занимался по научной части и отстранил от себя фронттовую часть и наказания за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание: кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя, и скажет своим чистым, отчетливым голосом:

– Ду-ур-ной кадет!..

И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем «утешить Михаила Степановича».

Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже *для нас*. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же у места будет сказано, что это, кажется, совершенно справедливо. По крайней мере знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал:

– Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных, – и это в его правдивых устах, конечно, была не фраза.



## Глава четвертая

Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, — он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал, да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов: комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты.

*Вся прислуга* директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отличался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлетнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платье, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с судками за обедом, не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими жестряпунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальства, завелось много, и Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие.

Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а, имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников вверенного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошности перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный балл, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным, белым пальцем в лоб и скажет:

— Дурной кадет.

И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранился, вероятно потому, что нельзя было, по тогдашнему обычаю, обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны.

Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Ореус.

Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписания и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того чтобы завтра опять встать немного нас пораньше.

Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, кото-

рого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил и умер честным человеком, без пятна и упрека; но этого мало: это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие, однако все это *только честность*. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали *своею*, то есть нашею, кадетскою, потому что Михайло Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предания кадетства.

## Глава пятая

По некоторому стечению обстоятельств мы, ребяташки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а *резервная* рота выходила на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам, из наших окон, было все видно.

Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю.

Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавших войск, которые состояли из батальона Московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после шести часов вечера открыли огонь из шести орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек шестнадцать вошли в ворота корпуса, и тут который где привалились, — кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям.

Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего батальона Московского полка.

Кадеты, услышав об этом или увидав раненых, без удержу, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались с своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую «передачу», то есть по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть, — раненым. Пирогов не есть, — раненым...» Эта «передача»<sup>2</sup> была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные «на хлеб и на воду».

Делалось это таким образом: когда мы выстроивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, «шло приказание», передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой, лаконической форме. Например:

— Есть арестанты — пироги не есть.

Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет, и несмотря на то, что утаить и вынести из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко

и незаметно. Да впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. «Не едят, уносят, – ну и пускай уносят». Худа в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела: оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести.

Так было и в этот для некоторых из нас очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу:

– Пирогов не есть, – раненым.

И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято: пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны.

День кончился по обыкновению, и мы уснули, нимало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело.

Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание.

Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности, а она была начеку и двигалась на нас как будто нарочно затем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба.